15



18+

Эдуард Сильвер

Эдуард Сильвер

15

«Автор»
2026

Сильвер Э.

15 / Э. Сильвер — «Автор», 2026

Петербург, 1912 год. На выставках, в театральных закулисьях, литературных кафе и чужих гостиных встречаются люди Серебряного века. Блок, Ахматова, Кузмин, Цветаева, художники и актёры спорят о работе, ищут деньги, влюбляются, ревнуют и договариваются о следующей встрече. Война, революция и эмиграция меняют адреса, привычки и состав собравшихся, но жизнь не прекращается: надо закончить картину, поставить спектакль, найти дрова и ответить на письмо. Исторический роман, охватывающих 1912–1924 годы. История живых людей, для которых будущее ещё не стало историей.Роман опирается на реальные события и свидетельства современников, но не является документальной хроникой: там, где источники оставляют пробелы, автор предлагает свою версию того, как всё могло происходить.

© Сильвер Э., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Литейный. Февраль 1912 6
Глава вторая. Териоки. Июнь 1912 17
Глава третья. Офицерская — Михайловская площадь. Декабрь 1913 29
Конец ознакомительного фрагмента. 38

Эдуард Сильвер
15

Даты до 1(14) февраля 1918 года — по старому стилю, с этого дня — по новому.

Глава первая. Литейный. Февраль 1912

У подъезда стояли три автомобиля и длинный ряд извозчиков. Извозчики курили и смотрели на автомобили так, будто те заняли чужое место. Снег с утра шёл мокрый, к трём часам перестал, и у входа его растоптали в серую кашу. Швейцар каждые несколько минут посылал мальчика с метлой, и мальчик мёл, хотя толку от этого не было никакого.

Любовь Дмитриевна отдала шубу, получила номерок и, прежде чем взять каталог, открыла сумочку и проверила, на месте ли записная книжка. В книжке на отдельной странице было восемь фамилий. Против двух стояли крестики, против одной — вопросительный знак, остальные пять были чистые.

В гардеробе было тесно и пахло мокрым мехом. Две дамы перед ней спорили, кому из них сдавать муфту, а когда сдали, оказалось, что номерок один на двоих и муфта тоже одна. Любовь Дмитриевна обошла их, поднялась на три ступеньки и сразу у входа в первый зал увидела Сапунова. Он стоял к ней спиной перед большим портретом в золотой раме, руки держал в карманах, а голову наклонил так, будто рассматривал не лицо на портрете, а раму.

— Николай Николаевич.

Он обернулся не сразу.

— А, — сказал он. — Это вы. Посмотрите, какая резьба. Её в Париже резали, а позолоту клали здесь, наши. Видно же: у них золото тёплое, а у нас как самовар.

— Вы мне нужны.

— Я всем нужен до Пасхи, — сказал Сапунов. — У меня Незлобин. А после Пасхи я никому не нужен, это проверено.

— После Пасхи вы как раз мне и нужны. На лето.

Сапунов вынул руки из карманов, посмотрел на неё, потом на раму, потом опять на неё.

— На лето — куда?

— Ещё не знаю. Под Петербург. Куда-нибудь, где есть сарай со сценой и где не будет никого из Александринки.

— Сарай есть везде, — сказал он. — Вы серьёзно?

— Я серьёзно уже два месяца. А вы первый, кому я говорю это не в «Собаке».

— В «Собаке» не считается, там все соглашаются.

— Поэтому я и говорю здесь.

Мимо них, плечом раздвигая публику, прошёл служитель с лестницей-стремянкой; за ним торопился невысокий господин в визитке, без конца трогавший усы. Господин бросил на ходу Сапунову: «Николай Николаевич, вы не видели Чудовского?» — и, не дожидаясь ответа, ушёл в следующий зал. Сапунов проводил его взглядом.

— Маковский, — сказал он. — Третий день воюет с окнами. Окна огромные, а свет к трём уходит, и все Мане становятся одного цвета. Он хочет задёрнуть шторы и зажечь люстры, а кто-то из французов против: говорят, Мане при люстрах — это уже не Мане. — Он помолчал. — А кто будет ставить?

— Не знаю. Может быть, сами.

— Сами — это значит вы?

— Веригина, Бычков, Мгебров обещал подумать. Пронин нашёл человека, у которого можно снять зал на проценты. Денег на декорации я дам.

Сапунов посмотрел на неё внимательнее, чем до этого смотрел на раму.

— Вы дадите?

— Я дам.

— Ну, — сказал он и почесал бровь. — Ну, если вы дадите. Я посмотрю, что у меня с Незлобиным. Если к маю отпустят, приеду. Только я не буду писать задники для водевилей.

— Водевилей не будет.

— Это вы так говорите. Потом окажется, что сбор только с водевилей.

— Четверг, «Собака», после одиннадцати, — сказала Любовь Дмитриевна. — Там будет Пронин, и вы ему это скажете сами.

— Про водевили?

— Про всё.

Он кивнул. Она достала записную книжку и поставила против его фамилии крестик, не пряча книжку. Сапунов смотрел, как она это делает.

— А против кого вопросительный знак? — спросил он.

— Против Мейерхольда.

— Тогда вопросительный знак мало, — сказал Сапунов и пошёл в зал, откуда слышались голоса.

Во втором зале было теплее и шумнее. Здесь висел Мане, и перед «Баром» с утра стояла толпа, которую служители время от времени просили не подходить ближе шнура. Шнур был протянут на невысоких столбиках, обтянутых бархатом, и двое мальчиков-гимназистов уже дважды задевали его коленями, чтобы посмотреть, что будет. Ничего не было.

Остроумова-Лебедева стояла сбоку от толпы. Ей не нужна была середина, ей нужен был край картины — правый, где отражение девушки в зеркале и мужчина в цилиндре, — и стояла она так, что видела этот край почти в ребро. Потом она сделала два шага назад, наступила кому-то на ногу, извинилась, не оборачиваясь, и снова подошла ближе.

Лебедев стоял у стены и читал этикетку. Этикетка была на двух языках, и он читал обе половины по очереди, проверяя одну по другой.

— Здесь сказано «собрание г-на ...», а фамилии не разобрать, — сказал он. — Буквы слились. Неужели нельзя было отпечатать?

— Серёжа, иди сюда.

Он подошёл.

— Смотри на апельсины. Вот в вазе, слева.

Он посмотрел на апельсины.

— Хорошие апельсины.

— Нет, смотри, как сделано. Здесь он положил оранжевое и не стал трогать. Один раз. А стекло рядом — видишь, его почти нет. Два мазка. Ему так некогда было, что ли?

— Может быть, некогда.

— Нет. — Она покачала головой. — Нет. Он всё здесь делал медленно, а это — быстро, нарочно. Я бы так не смогла. Я бы стала дописывать стекло.

— Ты гравёр, — сказал Лебедев. — Тебе бы и не надо.

— Мне бы и не надо, — согласилась она и отошла ещё на шаг назад, теперь осторожно.

Лебедев снова вернулся к этикетке. Через минуту он сказал, не поворачиваясь:

— Знаешь, мне кажется, лак пожелтел. Вот по краю. Если бы его снять...

— Его не будут снимать.

— Скипидаром нельзя, это ясно, — продолжал Лебедев так, будто она согласилась. — Тут нужно что-нибудь слабое и пробовать с края, где рама закроет, если не выйдет. Там, под ним, наверное, всё совсем другого цвета.

Анна Петровна не ответила: она опять смотрела на стекло. Лебедев договорил про растворитель уже самому себе, отошёл к окну и стал смотреть на улицу, где мальчик с метлой опять мёл подъезд.

У неё в муфте лежало письмо, которое пришло утром. Она прочла его за кофе, потом ещё раз в трамвае, а сейчас нащупала конверт пальцами и опять отпустила. Письмо было из Москвы, от Волошина, на четырёх страницах, и три страницы из четырёх были о Москве, о

«Бубновом валете» и о диспуте в Политехническом, где все кричали, а он, кажется, кричал громче всех и остался доволен, а на четвёртой было приглашение: приезжайте летом в Коктебель, оба, вы и Сергей Васильевич, у матери есть комнаты, а Карадаг лучше всего с моря. Внизу была нарисована гора — пером, в три линии.

Она подошла к Лебедеву.

— Серёжа. Летом.

— Что летом?

— Макс зовёт в Коктебель.

Лебедев подумал. Было видно, что ему хочется сказать «нет» сразу, но он считал, что «нет» сразу говорить невежливо.

— Летом у меня работа, — сказал он. — Ты же знаешь. Если я уеду на два месяца, мне потом всё начинать сначала.

— Я знаю.

— Ты поезжай одна.

— Одна я не поеду.

— Ну вот, — сказал Лебедев. — Тогда напиши ему, что на будущий год.

— Он не поверит.

— А ты напиши так, чтобы поверил.

Она засмеялась и вернула письмо в муфту.

Чеботарёвская вошла в зал Мане так, как входят в собственную гостиную, где гости уже собрались, а хозяйка опоздала по уважительной причине. В левой руке у неё была сумочка, из которой торчал край конверта, правой она держала под руку Сологуба. Сологуб шёл медленно и смотрел перед собой, на картины по сторонам не глядел.

— Здесь Мане, — сказала она.

— Вижу, — сказал Сологуб.

— Ты не смотришь.

— Я вижу, что здесь Мане. Смотреть я буду, когда сяду.

— Тут негде сесть.

— Значит, в следующем зале.

Она остановилась, огляделась, нашла глазами Остроумову и пошла к ней, ведя Сологуба за собой. По дороге она кивнула трём людям, одному не кивнула, и тот, кому она не кивнула, сделал вид, что разглядывает «Нану».

— Анна Петровна. Как хорошо. Вас-то мне и нужно. — Она открыла сумочку и вынула из пачки конверт. — Вот. Через воскресенье. Фёдор Кузьмич будет читать новое, немного, и будут люди. Вы и Сергей Васильевич. Не отказывайтесь, я уже написала ваши имена, переписывать мне некогда.

Остроумова взяла конверт. На нём действительно было написано её имя и рядом, через черту, имя мужа.

— Спасибо, Анастасия Николаевна. Если Серёжа не будет в лаборатории...

— В воскресенье лаборатории закрыты, — сказала Чеботарёвская. — Я узнавала.

Лебедев, который стоял у окна и всё слышал, обернулся и поклонился так, будто его вызвали к доске.

— Закрыты, — подтвердил он.

— Ну вот.

Сологуб за это время успел подойти к «Бару», постоять перед ним с полминуты, ни на кого не глядя, и вернуться.

— Хорошо, — сказал он жене. — Барышня скучает. Пойдём сядем.

— Сейчас. — Чеботарёвская уже смотрела дальше, через дверь, в соседний зал. — Там Ахматова?

— Не знаю, кто там.

— Там Ахматова. А где Гумилёв?

— Почему я должен знать, где Гумилёв?

— Потому что если она здесь одна, то я дам ей одно приглашение на двоих, а если они здесь врозь, то два.

— Дай одно, — сказал Сологуб. — Они разберутся.

— Ты не понимаешь, — сказала Чеботарёвская и повела его дальше.

Остроумова посмотрела ей вслед, потом на конверт, сунула его в муфту рядом с письмом из Москвы и вернулась к краю картины.

Кузмин стоял в ренуаровском зале уже минут двадцать. Он пришёл, чтобы посмотреть «Лягушатник», и смотрел его, но больше слушал. Перед соседней стеной, где висели Моне, стояли две группы, и обе ругали Моне. Одни — пожилой господин с женой и дочерью — говорили, что это не написано, а набросано, что так и он бы мог, если бы ему дали столько красок. Другие — трое молодых людей в студенческих тужурках — говорили, что это уже старо, что Моне давно остался позади, а смотреть надо на Сезанна, и Сезанн висит в другом конце, и они сейчас туда пойдут. Но никуда не шли. Кузмину нравилось, что Моне ругают с двух сторон одновременно и что ни одна группа не слышит другую.

Он достал из кармана карандаш и на обороте каталога, на пустой странице после списка устроителей, написал несколько строк. Писал он мелко, придерживая каталог на ладони.

Сапунов подошёл сзади и заглянул ему через плечо.

— Покажите.

— Не покажу.

— Вы уже показываете. Держите так, что всё видно.

Кузмин вздохнул и наклонил каталог.

Здесь пьют, и плещут, и шумят,

и шляпы по воде скользят;

а солнце, мелочью звеня,

досталось всем, кроме меня.

Сапунов прочёл и хмыкнул.

— Почему кроме вас?

— Потому что я стою здесь, а не там.

— А я думал, потому что у вас нет денег.

— И поэтому тоже, — сказал Кузмин и сложил каталог. — Никому не говорите. Это не стихи, это так.

— Кому мне говорить? — сказал Сапунов. — Любовь Дмитриевна вас ищет.

— Меня? Зачем?

— Она всех ищет. У неё в книжке список. Меня уже записала.

— Куда?

— На лето.

Кузмин посмотрел на него с тем вежливым интересом, с каким слушают про чужую поездку на воды.

— А что летом?

— Театр. Где-нибудь под городом. Своими силами. Она даёт деньги.

— Тогда это серьёзно, — сказал Кузмин.

— Вот и я так сказал.

У «Подавальщицы» в это время собралось больше народу, чем у Моне. Кузмин сначала не понял почему. Картина висела там же, где вчера и позавчера, — не самая большая в зале: девушка в чёрном платье и белом переднике стоит и смотрит прямо перед собой, как будто её только что окликнули и она не решила ещё, подходить или нет. Вчера возле неё стояли так же, как возле всего остального. Сегодня к нижнему краю рамы была приколота маленькая карточка, и люди наклонялись, чтобы её прочесть, а прочитав, отступали и смотрели на девушку снова, внимательнее.

— Что там? — спросил Кузмин.

Сапунов прошёл вперёд, наклонился и вернулся.

— «Приобретена». И больше ничего.

— Кем?

— Не написано.

— Значит, все знают, — сказал Кузмин.

Знали действительно все или почти все. Через минуту из соседнего зала показался Маковский, всё так же трогая усы, а рядом с ним — высокий, очень прямой человек лет тридцати пяти, в хорошо сшитом сюртуке, с бледным лицом, на котором удовольствие держалось так, словно его туда положили и боялись уронить. Маковский что-то быстро ему говорил, а он слушал, не отводя глаз от «Подавальщицы».

— Щербатов, — сказал Сапунов тихо. — Из Москвы.

— Князь?

— Князь. Художник. Тоже пишет. У него дом строится на Новинском, ему нужно, чем стены завешивать.

— Так говорить нехорошо, — сказал Кузмин, не скрывая удовольствия.

— Так говорят в Москве.

Маковский и Щербатов остановились у картины, и толпа сама собой немного раздвинулась.

— Сергей Константинович, — сказал Щербатов, — я понимаю условия. Но март в Петербурге длинный. Если бы её можно было отправить хотя бы к середине месяца...

— До закрытия невозможно, — сказал Маковский. — Совершенно невозможно. Она в каталоге. Её ждут. Французская сторона... И потом, — он понизил голос, но не настолько, чтобы не было слышно в трёх шагах, — вы видите, что делается? Вчера у неё стояли пять человек, сегодня — тридцать. Вы ей за один день сделали больше публики, чем я за месяц.

— Мне от этого не легче, — сказал Щербатов.

— Пусть повисит. Прошу вас.

Щербатов ещё раз посмотрел на девушку в переднике и, видимо, решил, что спорить с Маковским при тридцати свидетелях не стоит.

— Хорошо. До восемнадцатого.

— До восемнадцатого, — с облегчением сказал Маковский и тут же, повернувшись, кому-то крикнул: — Нет! Люстры не зажигать! Я сказал — в четыре!

Щербатов остался у картины один и стоял так долго, что люди вокруг начали стесняться смотреть на неё при нём.

— Ему теперь неловко, — сказал Кузмин.

— Кому? Ему?

— Ей.

Сапунов засмеялся, громко, на весь зал, и несколько человек обернулось.

Любовь Дмитриевна нашла Кузмина не в ренуаровском зале, а в коридоре между залами, где было прохладнее и где у окна стоял маленький диванчик с гнутыми ножками. Диванчик был старый, настоящий, и на нём никто не сидел, потому что все думали, что он тоже выставлен. Кузмин сел на него первым и теперь сидел, вытянув ноги, и листал каталог.

— Михаил Алексеевич, на нём можно сидеть?

— Не знаю. Пока не выгнали.

Она села рядом.

— Николай Николаевич вам сказал?

— Что вы набираете труппу? Сказал. Я не играю, Любовь Дмитриевна, вы же знаете. Я и за роялем-то лучше, когда на меня не смотрят.

— Мне не нужно, чтобы вы играли. Мне нужна музыка.

— К чему?

— Ещё не знаю. Будет пантомима. Будет, может быть, испанское что-нибудь. Будет, может быть, Стриндберг.

— Стриндбергу не нужна музыка, — сказал Кузмин.

— Тогда к пантомиме.

Кузмин закрыл каталог и посмотрел в окно. Там, внизу, мальчик с метлой опять мёл подъезд, а один из извозчиков слез с козел и что-то ему объяснял, показывая кнутом, куда мести.

— Хорошо, — сказал Кузмин. — Пришлите мне сценарий. Если будет сценарий, я напишу. Если сценария не будет, я напишу всё равно, но тогда это будет не к пантомиме, а просто так, и вы будете на меня сердиться.

— Пришлю.

— А где это будет?

— Ещё не знаю. Денег у меня немного, но на лето хватит.

— Простите, — сказал Кузмин и вдруг встал. — Там Гумилёв, а я ему должен ответить на одно письмо, которое не прочёл. Если он меня увидит, я отвечу сейчас, и это будет хуже.

Он ушёл в противоположную сторону. Любовь Дмитриевна достала книжку и против его фамилии, подумав, поставила не крестик, а точку.

Маковского она поймала у входа в зал Сезанна. Он разговаривал одновременно со служителем и с дамой в лиловом, и обоим отвечал «да, да, разумеется». Увидев её, он сделал движение, будто хотел поцеловать руку и одновременно уйти.

— Сергей Константинович. Одну минуту.

— Любовь Дмитриевна! Как я рад. Вы уже видели Сезанна? Обязательно. Обязательно посмотрите Сезанна, здесь семнадцать вещей, этого больше нигде не будет...

— Я посмотрю. Скажите: «Аполлон» мог бы напечатать заметку? Небольшую. О летнем театре. Чтобы знали, что такое дело есть, и чтобы к нам приходили люди.

— Какой летний театр?

— Наш. Будет.

Маковский потрогал усы.

— Любовь Дмитриевна. Я бы с радостью. Но вы же понимаете: журнал — это художественная хроника. Мы пишем о том, что состоялось. Если театр состоится, если будет спектакль, если будет что-то... — он поискал слово, — значительное, то, конечно. Тогда я сам попрошу кого-нибудь. Но заранее, о намерении...

— Я поняла.

— Вы не обижаетесь?

— Нет, — сказала она. — Мы сами напечатаем афишу.

— Вот это правильно, — сказал Маковский с облегчением и повернулся к даме в лиловом, которая всё это время ждала. — Да, да, разумеется, сударыня. В четыре. Ровно в четыре.

Любовь Дмитриевна прошла в сезанновский зал. Здесь было меньше народу, и люди стояли дальше от стен. Двое пожилых мужчин в форменных сюртуках смотрели на натюрморт с яблоками, и один говорил другому, что яблоки кривые, а другой, подумав, сказал, что у его тёщи в имении яблоки тоже были кривые, и ничего, ели. Она постояла возле натюрморта, не столько глядя на него, сколько отдыхая, и пошла обратно, к Мане, потому что оттуда было ближе к выходу.

Белый стоял перед «Баром» не за шнуром, а почти у самого шнура, наклонившись вперёд, и что-то говорил, хотя рядом с ним никого не было. Она узнала его по спине раньше, чем по лицу: по тому, как он держал руки за спиной и как перекатывался с пяток на носки. Отступать было поздно, да и незачем.

— Борис Николаевич.

Он обернулся быстро, весь сразу, как будто его толкнули.

— Любовь Дмитриевна.

Они поздоровались. Он поцеловал ей руку и сразу отпустил.

— Я смотрю зеркало, — сказал он. — Вы видели? Зеркало — неправильное. Девушка стоит вот так, а в зеркале она стоит по-другому, в стороне, и господин этот, в цилиндре, — он к ней наклонился, а впереди его нет. Его нет! Его нет перед ней, понимаете, он только в зеркале. Я сначала подумал, что это ошибка, а потом подумал, что это не ошибка, а потом подумал, что ошибка, но такая, которую нельзя исправлять. И вот стою.

— Анна Петровна тоже здесь стояла. Только с другой стороны.

— Остроумова? — Он оглянулся. — Она гравёр, ей виднее. Ей надо было бы спросить. Но она ушла.

— Она вон там, у окна.

Белый посмотрел туда, но не пошёл.

— Вы давно в Петербурге? — спросила Любовь Дмитриевна.

— С конца января. Живу на Башне. Там ночью не спят, а днём спят, и я никак не могу попасть в их время. Я встаю в восемь, а у них в восемь утра ещё вчера. — Он улыбнулся, и улыбка у него вышла почти виноватая. — Скоро уезжаю.

— Надолго?

— Не знаю. Наверное, надолго.

Они помолчали. Мимо прошла дама, задела Белого локтем, извинилась, и он извинился в ответ дважды.

— Здесь негде сесть, — сказал он. — Это меня мучает с самого начала. Залы огромные, мебель огромная, вся настоящая, а сесть нельзя. На диван у окна сел Кузмин, и все на него смотрят, как на экспонат.

— Он уже ушёл.

— Ушёл? Тогда пойдёмте сядем. Нет. — Он остановился. — Нет, там сейчас кто-нибудь другой сел.

— Тогда постоим.

— Тогда постоим, — согласился он с облегчением.

Он снова посмотрел на зеркало, потом на неё.

— Саша дома по вечерам? Я хотел бы его увидеть. До отъезда.

— Дома. Вы напишите ему. Он ответит.

— Напишу, — сказал Белый. — Да. Лучше написать. Он ведь не придёт сюда? Сюда, сегодня?

— Нет. Он придёт потом. Один, когда тут никого не будет.

— Когда тут никого не будет, — повторил Белый, и было непонятно, нравится ему это или нет. — Да. Это на него похоже.

Он поклонился, быстро и не очень ловко, сказал, что обещал кому-то быть в половине пятого и уже, кажется, опаздывает, хотя часов не достал, и ушёл через зал Мане в сторону, противоположную выходу. Любовь Дмитриевна посмотрела ему вслед, потом на девушку за стойкой, которая всё так же стояла лицом к залу и ни на кого не глядела, и пошла к окну, где стояла Остроумова.

— Анна Петровна. Вы мне скажите, как художник: его можно смотреть при люстрах?

Остроумова подумала.

— Можно. Но это будет другая картина. Хуже.

— А Маковский велел зажечь в четыре.

— Я знаю, — сказала Остроумова. — Поэтому я и стою здесь до четырёх.

В зале Энгра, где было тише, чем у Мане, Ахматова разговаривала с Лебедевым. Как они разговорились, ни он, ни она потом не смогли бы сказать. Лебедев отошёл от окна и пошёл по залам, читая этикетки. Ахматова стояла перед небольшим женским портретом, долго, одна, и Лебедев остановился рядом, потому что этикетка была на уровне её плеча и он не мог прочесть её, не попросив подвинуться. Он попросил. Она подвинулась. Он прочёл этикетку и сказал:

— Простите. Вы не чувствуете, здесь пахнет?

— Пахнет, — сказала Ахматова. — Я думала, это от публики.

— Нет. Это лак. Свежий. Кто-то покрывал раму или реставрировал, и не дали высохнуть. Скипидар и смола, слышите? Вот здесь, слева, сильнее.

Она наклонилась к раме, понюхала и выпрямилась.

— Слышу. Вы реставратор?

— Химик.

— А что делают химики?

Он подумал, всерьёз, будто ему задали вопрос на экзамене.

— Я, например, пытаюсь понять, почему одни вещества, если их оставить в покое, сами собой сцепляются в длинные цепочки, а другие нет. Это очень медленно. Иногда месяцами ничего не происходит. А потом в колбе что-то вязкое, и непонятно, хорошо это или испортилось.

— И как вы узнаёте?

— Иногда никак, — сказал Лебедев. — Выливаю и начинаю снова.

Ахматова улыбнулась — коротко, одними губами.

— Это похоже на одно знакомое мне занятие.

— На какое?

— Неважно, — сказала она. — Расскажите ещё про цепочки.

И он стал рассказывать. Рассказывал он длинно, с подробностями, которых она не понимала, но слушала она внимательно, не перебивая, и он, заметив это, рассказывал ещё подробнее. Мимо прошли двое молодых людей. Они громко спорили, неприлична ли «Нана». Один говорил, что неприлична, потому что этот господин на диване сидит при ней в цилиндре, а она в одном корсете, и всем ясно, кто он такой. Другой говорил, что прилична, потому что это искусство. Ни тот, ни другой, судя по всему, «Нану» ещё не видели: зал Мане они прошли быстро, разговаривая, а теперь шли из него дальше. Ахматова проводила их глазами, и Лебедев на секунду сбился.

— Продолжайте, — сказала она. — Вы остановились на том, что в колбе вязкое.

Гумилёв в это время был в зале Делакруа. Он пришёл раньше Ахматовой, другим поездом, и не искал её. Он стоял перед небольшим наброском — всадник, лошадь, какое-то дви-

жение, которое было больше лошади, — и спорил с молодым человеком в пенсне, которого видел второй раз в жизни. Молодой человек говорил, что это эскиз и что в эскизе нельзя искать законченности. Гумилёв говорил, что законченности он и не ищет, он ищет, где тут лошадь кончается и начинается движение, и что если этого места нет, то это не эскиз, а небрежность.

— Вы строги, — сказал молодой человек.

Гумилёв уже показывал ему, не касаясь стекла, то место у задней ноги, где, по его мнению, всё и решалось.

Чеботарёвская подошла к нему со спины и сказала, не дожидаясь, пока он обернётся:

— Николай Степанович. Через воскресенье. Фёдор Кузьмич будет читать. Вот.

Гумилёв обернулся и взял конверт.

— Благодарю, Анастасия Николаевна. Мы будем.

— Вы — это вы и Анна Андреевна?

— Да.

— Тогда я дам ей второй. Сама. — Чеботарёвская уже вынула второй конверт и держала его в руке. — Где она?

— Не знаю, — сказал Гумилёв так спокойно, будто речь шла о погоде. — Где-то здесь. Мы приехали порознь.

— Я найду, — сказала Чеботарёвская.

Молодой человек в пенсне, который всё это время стоял рядом, кашлянул.

— Простите. Анастасия Николаевна, мы, кажется, знакомы. Я был у вас на Рождество. Мы с вами говорили о Метерлинке.

Чеботарёвская посмотрела на него, на конверты в сумочке — их там оставалось ещё штук шесть, и они хорошо были видны — и сказала:

— Да, конечно. Как же. Очень рада.

— Если бы и мне было можно...

— У меня, к сожалению, все уже расписаны, — сказала Чеботарёвская, закрыла сумочку и пошла искать Ахматову.

Молодой человек посмотрел ей вслед, потом на Гумилёва.

— Вот так, — сказал он.

— Вот так, — сказал Гумилёв без сочувствия и снова повернулся к лошади.

Сологуб сидел в третьем зале, на банкетке у стены, напротив большого пейзажа с деревьями и прудом. Пейзаж он не выбирал, это была единственная свободная банкетка. Он сидел, положив руки на набалдашник трости, и смотрел на пруд с таким выражением, какое бывает у человека, наконец-то добравшегося до собственного кресла. Мимо него ходили, его узнавали, кто-то даже остановился, чтобы поклониться, и он кивнул, не вставая. Ему было хорошо. Ему никто ничего не объяснял.

Чеботарёвская нашла его через полчаса, с одним конвертом в руке.

— Ахматова ушла, — сказала она. — Или она здесь, но я её не вижу. Я обошла все залы.

— Отдашь Гумилёву.

— Я не хочу отдавать Гумилёву. Я хочу отдать ей.

— Тогда пошлёшь по почте.

— По почте — это не то.

— Почему?

Она не ответила. Села рядом, сняла перчатку, потом надела снова.

— Тебе нравится? — спросила она, глядя на пруд.

— Мне нравится сидеть, — сказал Сологуб. — А пруд хороший. Тёмный. В нём ничего не плавает.

— Нам пора.

— Ещё пять минут.

— Хорошо, пять минут, — сказала она и стала считать в сумочке оставшиеся конверты.

Ахматову Чеботарёвская всё-таки нашла. Это случилось без двадцати четыре, в гардеробе, куда Ахматова спустилась, когда Лебедев дорассказал про цепочки и пошёл искать жену. Ахматова стояла у барьера и ждала, пока гардеробщик найдёт её шубу, а Гумилёв стоял в двух шагах и уже держал свою.

— Анна Андреевна. — Чеботарёвская подошла почти бегом, Сологуб шёл за ней медленно, с её муфтой в руках. — Вот. Через воскресенье. Николай Степанович уже взял, но это — вам.

Ахматова взяла конверт.

— Спасибо.

— Вы придёте?

— Если не будет дождя, — сказала Ахматова. — Из Царского в дождь тяжело.

— Дождя не будет, — сказала Чеботарёвская. — Ещё февраль.

— Тогда снег.

— Снег — это не дождь, — сказала Чеботарёвская, и Гумилёв, который всё слышал, первый раз за весь день засмеялся.

Ахматова положила конверт в сумку, не распечатав. Гардеробщик принёс ей шубу, Гумилёв, не говоря ни слова, взял её у гардеробщика и подал, и они ушли вместе, к Царскосельскому вокзалу, — как будто так с самого начала и было условлено.

Ровно в четыре в залах зажгли люстры.

Это произошло не сразу: служители ходили по залам с длинными шестами, и люстры загорались одна за другой, сначала в первом зале, потом во втором, и между залами с минуту стояла странная граница: в одном было уже желтоватое, тёплое, праздничное, а в соседнем ещё серо-голубое, февральское, из окон. Публика обрадовалась свету, кто-то даже захлопал. Маковский стоял посреди первого зала, смотрел вверх и трогал усы.

Остроумова стояла у «Бара» до последнего. Когда загорелась люстра в зале Мане, она ещё с полминуты смотрела на картину — на мраморную стойку, на бутылки, на апельсины, на зеркало, в котором теперь, кроме нарисованного зала, отражалась ещё и настоящая люстра, — а потом сказала вслух, ни к кому не обращаясь:

— Ну вот.

И пошла к выходу.

Лебедев ждал её у гардероба. В руках у него были две пары калош, и он смотрел на них с недоумением.

— Аня, — сказал он. — Я не понимаю. Номерок наш, а калоши, по-моему, не наши.

— Почему не наши?

— Наши были с красной подкладкой. А эти с малиновой.

Она посмотрела.

— Это и есть красная, Серёжа.

— Это малиновая, — сказал Лебедев с убеждённостью. — Я химик, я различаю.

Гардеробщик, слышавший всё это, молча забрал у него калоши, ушёл за барьер и вернулся с другими. Подкладка у них была точно такая же. Лебедев посмотрел на них, потом на гардеробщика, сказал «благодарю» и стал надевать.

Любовь Дмитриевна вышла последней из тех, кого знала. На лестнице она остановилась, достала книжку и при свете люстры, который доставал и сюда, посмотрела на страницу с фамилиями. Два крестика, которые стояли с утра, точка против Кузмина, крестик против Сапунова.

Против Мейерхольда — по-прежнему вопросительный знак. Три фамилии были чистые. Против одной из них она, подумав, поставила маленькую черту: эта женщина весь день ходила по залам с мужем и с подругой, и Любовь Дмитриевна дважды подходила к ней и дважды уходила, так и не начав разговора, потому что разговор при муже начинать было нельзя.

Внизу, у подъезда, снова шёл снег. Автомобили уже уехали, извозчики стояли в два ряда. Мальчик с метлой мёл подъезд, а снег падал на то место, которое он только что вымел. Любовь Дмитриевна спустилась, сказала адрес первому извозчику, и тот, не торгуясь, подвинулся на козлах.

— Малая Монетная, — повторил он. — Доедем.

Глава вторая. Териоки. Июнь 1912

Кузьмин-Караваев мерил сцену портновской лентой, потому что другой ленты на даче не нашлось. Лента была в полтора аршина, и он перекладывал её, прижимая пальцем конец, а цифры записывал на манжете карандашом. Сцену сколотили на прошлой неделе из неструганых досок, и лента цеплялась за занозы.

— Три с четвертью, — сказал он. — Это до ширм. Если ширмы отодвинуть, будет три с половиной, но тогда их видно из зала насквозь.

— Из зала всё видно насквозь, — сказал Бычков снизу. — Там и смотреть особенно нечего.

Зал был тем же сараем, только с другой стороны занавеса. Пол в нём был песчаный, и песок, чтобы не пылил, затянули серым сукном; сукно лежало неровно, и в двух местах из-под него торчали колышки, которыми вчера размечали ряды. Скамьи вкопали прямо в песок. Если сесть на край, скамья чуть наклонялась, и Бычков уже два раза предупреждал, чтобы на крайние места билетов не продавали, пока он не подсыплет.

Занавес висел на тесёмках. Он был полупрозрачный, и утром, когда солнце стояло с той стороны, сквозь него виделись головы актёров, сидевших на краю сцены. Веригина сказала, что так даже лучше: публика заранее увидит, что её ждёт, и успеет уйти.

Мейерхольд стоял в проходе между скамьями, в пиджаке, наброшенном на плечи, и смотрел не на сцену, а себе под ноги.

— Ещё раз, — сказал он. — С выхода дам.

Тапёр из казино, которого им дали на утро вместе с пианино, взял тот же аккорд, что и в первый раз. Пианино стояло внизу, сбоку от сцены, и тапёру ничего не было видно, кроме ног; он играл, глядя на ноги.

Вышли три дамы — Любовь Дмитриевна, Веригина и Чекан, — в своих платьях, подоткнутых, чтобы не мешали, с веерами из картона. В парке этот выход занимал восемь тактов: дамы шли из-под сосен гуськом, делали полукруг и останавливались у куста, который изображал балкон. Здесь куста не было, был край ширмы. На пятом такте Чекан, шедшая последней, задела ширму плечом, ширма качнулась, и Кузьмин-Караваев, который держал её с той стороны, сказал «ох».

— Стоп, — сказал Мейерхольд. — Ничего. Ещё раз.

Пошли ещё раз. Теперь Чекан шла на полшага ближе к Веригиной и ширму не задела, зато к шестому такту все три оказались у самой рампы, и полукруга не получилось; получилась очередь. Любовь Дмитриевна, шедшая первой, увидела, что ей некуда поворачивать, и повернула на месте, как поворачиваются в тесной прихожей.

Мейерхольд поднял руку. Тапёр перестал играть не сразу, а дотянул такт.

— Кавалеры, — сказал Мейерхольд.

Вышли Донской и Бычков, который с утра успел побывать на кухне и в погребе и теперь был кавалером. Они вышли с другой стороны и в парке встречали дам посередине лужайки. Здесь середины не было. Донской сделал свой большой шаг, тот, над которым в парке два дня работали, — длинный, в профиль, с отставленной рукой, — и рукой упёрся Веригиной в веер.

Веригина засмеялась. Засмеялся и Донской, и тапёр внизу тоже, хотя не видел, над чем.

Мейерхольд не смеялся. Он прошёл по проходу к сцене, поднялся по двум ящикам, которые заменяли ступени, и встал на то место, где должен был быть полукруг. Постоял. Отошёл к заднику — до задника было три шага — и посмотрел оттуда в зал.

— Сколько у нас было в парке? — спросил он.

— Между соснами — шесть с половиной, — сказал Кузьмин-Караваев. — Я тогда мерил шагами.

— Шагами чьими?

— Своими.

— Значит, восемь, — сказал Мейерхольд. — У вас шаг короткий. — Он ещё раз посмотрел в зал, потом на ширмы. — Ну вот. Две недели мы с вами ставили пантомиму для лужайки.

В парке это было не страшно: по разводке дамы выходили не из-за ширм, а из зала, по проходу между скамьями, и сцена нужна была им только для полукруга, а Мейерхольд смотрел с террасы, сверху. Здесь пол был ровный, без всякого подъёма, и скамьи, вкопанные вчера, стояли все на одной высоте. Кузьмина-Караваева утром, до прогона, посадили на последнюю, и он сказал, что видел из всего выхода дам только веера над головами. Выход пришлось переносить на сцену, а места для него на сцене не было.

Никто ничего не сказал. Любовь Дмитриевна сложила картонный веер, потом снова развернула. Она знала, что скажет сейчас Мейерхольд, раньше, чем он сказал, и думала уже не о нём, а о том, где сейчас Пронин.

— Сегодня не играем, — сказал Мейерхольд. — Сервантеса можно было бы и сегодня, Сервантес на двух стульях стоит. Но открываться двумя интермедиями без пантомимы я не стану, а пантомиму надо разводить заново. И просцениум. — Он постучал каблуком по краю сцены. — Сюда нужно ещё аршина полтора досок, вперёд, в зал. Тогда будет где повернуться.

— В зал — это первая скамья, — сказал Бычков.

— Значит, первую скамью выкопаем.

— Она уже продана.

— Сколько её?

Бычков посмотрел на Любовь Дмитриевну. Билеты были у Лучевича, а Лучевич с утра уехал на станцию встречать Кульбина и ширмы, которые Кульбин обещал ещё в среду.

— Мест восемь, — сказала Любовь Дмитриевна. — Всего, по-моему, продано сорок с чем-то. Я вчера смотрела.

— Сорок с чем-то, — повторил Мейерхольд без выражения. — Ну и хорошо. Значит, вернём сорок с чем-то. — Он обернулся к дамам. — Через час в парке. Не на старом месте, а у сарая, где дрова. Кузьмин, возьмите вашу ленту и отмерьте там три с половиной, не больше. Будем работать в тесноте, раз нам так нравится.

Он сошёл по ящикам, надел пиджак в рукава и вышел из сарая на солнце.

Веригина сняла с плеча картонный веер, которым её задели, и посмотрела на него.

— Второй раз, — сказала она. — В прошлый раз ждали ширм. Теперь ширмы есть, а места нет.

Бычков загибал пальцы, считая, сколько билетов придётся возвращать, и сбился на втором десятке.

Мгебров сидел на краю сцены, свесив ноги, и, кажется, был доволен. Он с самого начала говорил, что открываться в воскресенье — значит играть перед дачниками, которые придут после обеда, в панамах, и уйдут к ужину. Чекан сидела рядом с ним и ничего не говорила; она только что второй раз за утро чуть не уронила ширму и ещё не решила, виновата она или нет.

Любовь Дмитриевна спустилась в зал и пошла по сукну к выходу. Сукно под ногами сползало, и под ним был тёплый песок.

Пронин нашёлся в буфете казино, где он с утра сидел над чаем с арендатором и, судя по чашкам, сидел долго. Чашек было пять, хотя людей было двое. Арендатор был немолодой, плотный, в жилете без пиджака, и по-русски говорил хорошо, только медленно, а когда сердился, переходил на немецкий, но тоже медленно.

— Знаю, — сказал Пронин, увидев её. — Мне уже сказали. Садитесь. Вы как раз.

Она села. Арендатор встал, поклонился и снова сел.

— Господин режиссёр отменяет, — сказал он. — Воскресенье. Сегодня в казино будет четыреста человек. Музыка с шести. Ваши сорок три билета я продал бы ещё до трёх часов в два раза больше, если бы на афише было что-нибудь понятное.

— На афише Сервантес, — сказал Пронин.

— Вот я и говорю.

Пронин засмеялся и подлил себе чаю из чайника, в котором чая уже не было.

— Дело, Любовь Дмитриевна, такое, — сказал он. — Мы договаривались с господином на проценты с каждого сбора. Это вы знаете. Сбора сегодня нет, значит, и процентов нет. А зал он держал. Он мог его сдать на вечер под танцы и не сдал. Он просит, чтобы мы ему за сегодняшний вечер дали гарантию. Небольшую.

— Сколько?

— Двадцать пять, — сказал арендатор.

— Двадцать пять рублей за то, что в зале никого не будет?

— За то, что в зале не было танцев, — поправил арендатор. — Танцы у меня каждое воскресенье. Я их отменил ради вас.

Любовь Дмитриевна посмотрела на Пронина. Пронин смотрел в чашку. Она видела, что он уже согласился, может быть, ещё до её прихода, и что ему теперь нужно только, чтобы деньги дала она, а он остался бы с арендатором в тех же отношениях, в каких был: старых, лёгких и выгодных обоим.

— За танцы я платить не буду, — сказала она. — Танцы вы отменили сами, нас никто не спрашивал. Будь у вас сегодня танцы, нам бы негде было репетировать с утра.

— Любовь Дмитриевна...

— Борис Константинович, подождите. — Она повернулась к арендатору. — Вам нужно, чтобы через неделю был сбор. Через неделю он будет, если будет сцена. Мейерхольд хочет вынести просцениум вперёд, в зал. Это доски, гвозди и плотник на два дня. За это я заплачу. Сцена останется вашей, и потом на ней можно будет хоть танцевать.

Арендатор подумал.

— Первый ряд пропадает, — сказал он.

— Первый ряд пропадает, — согласилась она. — Его билеты мы вернём из своих.

— Тогда я теряю восемь мест на каждом представлении.

— Шесть, — сказал Пронин, оживившись. — Скамейка в шесть мест, я сам садился. Восемь — это если дамы худенькие.

Арендатор посмотрел на Пронина, на неё, потом в окно, где на веранде казино уже ставили пюпитры для вечерней музыки.

— Плотник мой, — сказал он. — Мой плотник знает, где брать доски. Ваш будет искать до среды.

— Хорошо. Ваш.

— И афиши. Если на афише будет «перенесено», люди думают, что будет плохо. Я знаю этих людей. Нужно новое число крупно, а слово «перенесено» маленькими буквами.

— Это можно, — сказал Пронин. — Это я сам. Лучевич нарежет полосы, наклеим поверх. В Выборг ехать не надо, у вас тут в лавке есть краска.

— Краска в лавке есть, — сказал арендатор. — Но лавка сегодня закрыта. Воскресенье.

Это было сказано без всякого удовольствия, просто как сведение, и Пронин так же просто его принял.

— Тогда завтра.

— Тогда вы сегодня снимаете старые, — сказал арендатор. — На станции и у пляжа. Иначе ко мне в шесть часов придут люди с вашими билетами и будут говорить со мной по-русски.

Когда арендатор ушёл распорядиться о плотнике, Пронин некоторое время молчал, разглядывал пустые чашки и составлял их одну в другую.

— Вы мне сломали всю торговлю, — сказал он наконец без обиды. — Я его довёл до пятнадцати. Ещё полчаса, и он взял бы десять и был бы мне благодарен.

— Я не буду платить за то, что он не продаст пива.

— Он не пиво продаёт. Он продаёт воскресенье. — Пронин вздохнул. — Ладно. Доски так доски. Это даже лучше: доски останутся, а пятнадцать рублей ушли бы, и всё. — Он встал. — Только знаете что, Любовь Дмитриевна. Вы мне в следующий раз говорите заранее, что будете платить, а что нет. А то я с человеком торгуюсь, у меня свой расчёт, а потом приходите вы, и расчёт уже ваш.

— Я сама не знала, пока не услышала.

— Вот это и плохо, — сказал Пронин весело и пошёл искать Лучевича.

Она осталась за столиком. Буфетчица, не спрашивая, унесла пять чашек и поставила одну чистую. Любовь Дмитриевна достала книжку и записала: «Плотник арендатора. Доски. 1 ряд — вернуть 6 мест. Полосы на афиши — завтра». Подумала и под этим, отдельно, записала: «Касса — сорок три. Деньги у Лучевича». Деньги за проданные билеты были у Лучевича, а свои, наличные, у неё кончились ещё в пятницу на провизии, и это она тоже знала, но записывать не стала.

На даче обедали в два, и к двум все, кто был в казино, вернулись туда, кто через посёлок, кто напрямик, по тропинке между заборами. Дача стояла в глубине парка, и парк был такой густой, что в доме днём горели бы лампы, если бы их кто-нибудь зажигал. Сосны подходили к самым галереям. С галерей второго этажа можно было достать рукой до ветки, и Мгебров в первый же день так и сделал, после чего две недели ходил с липкими от смолы пальцами и всем их показывал.

Внизу, в большой гостиной, жил Мейерхольд с женой, дочерьми и таксой. Остальные жили наверху, в комнатах, где после прежних хозяев осталась кое-какая мебель, а где не осталось, привезли сено. Сено было чистое, его привёз финн-молочник на своей телеге за отдельную плату, и Бычков записал эту плату в книгу под словом «мебель».

Книга лежала на террасе, на углу стола, придавленная камнем. Это была обыкновенная конторская книга в мраморной обложке; Бычков вёл её с первого дня и требовал, чтобы туда записывали всё, что тратят, даже на папиросы, если на общие. Записывали не все. Любовь Дмитриевна записывала всё, и поэтому большая часть страниц была исписана её почерком, а в правом столбце, где «откуда», почти везде стояло одно и то же: «Л.Д.».

Обед был поздний и простой: суп, рыба, которую кухарка-финка жарила так, что рыбу не было видно под луком, и кисель. Кухарка по-русски понимала, но говорила только «так» и «нет», и с ней объяснялся Бычков, по-русски, громко и с жестами, как с глухой. Подавал Василий, молодой человек из местных, нанятый вместе с кухаркой. Он служил прежде у дачников, у приличных, как он сам говорил, и до сих пор не мог привыкнуть, что здесь садятся за стол в гриме или в одной рубашке, что кто-нибудь непременно ест стоя и что господин Мгебров, сидя за столом, может вдруг откинуться назад так, что голова у него оказывается почти у пола, и в таком положении попросить хлеба.

— Это Панталоне, — объяснил Мгебров, возвращаясь. — Панталоне так кланяется. Василий, не пугайтесь. Это работа.

Василий подал хлеб и отошёл к двери, откуда смотрел на Мгеброва так, как будто ждал, что тот сделает это ещё раз, и хотел успеть отойти.

Мейерхольд за обедом говорил мало и о пантомиме не говорил совсем. Он рассказывал младшей дочери, что в доме живут привидения, потому что дом похож на дом Эшеров, и что он видел одно вчера ночью на лестнице: оно было в халате и искало спички. Дочь сказала, что это

был Пяст. Мейерхольд сказал, что Пяста вчера не было, и дочь задумалась. Ольга Михайловна сказала, чтобы он не пугал ребёнка перед сном, хотя до сна было ещё далеко. Такса сидела под столом у его ног и получала рыбу без лука.

Любовь Дмитриевна сидела между Веригиной и Бычковым и ела мало. Бычков, наклонившись к ней, говорил вполголоса и загибал пальцы:

— Молочнику — за неделю. Кухарке — за неделю вперёд, она просила. Лавочнику — по счёту, он принесёт завтра. Сено — уже. Керосин — у меня есть, до пятницы хватит. Это всё не страшно. Страшно, что за прошлую неделю я двенадцать рублей не могу свести. Они где-то есть, а где — не знаю.

— Я, наверное, не записала.

— Вы всегда записываете.

— Тогда кто-то другой взял и не записал.

— Вот, — сказал Бычков. — Это я и говорю. — И замолчал, потому что не хотел говорить, на кого думает.

Веригина, которая всё слышала, сказала через стол:

— Это Борис Константинович. Он брал на клей и на извозчика в Выборге. Он мне сам говорил. Записать, наверное, забыл.

— На клей двенадцать рублей?

— На клей и на обед в Выборге, — сказала Веригина. — Он там ждал типографию.

Бычков вздохнул с облегчением и с неудовольствием одновременно.

— Пусть запишет.

— Скажите ему сами, — сказала Любовь Дмитриевна. — А я завтра привезу денег.

— Откуда?

— Из города. Сегодня воскресенье, банк закрыт. Плотнику надо платить, кухарке надо платить, а у меня в кошельке три рубля с мелочью.

— У меня есть рублей десять, — сказала Веригина.

— Оставьте себе.

Это было сказано так, что Веригина не стала настаивать. Она знала Любовь Дмитриевну давно и знала, что в денежных делах та не любит ни одолжений, ни разговоров об одолжениях, и что лучше всего с ней в этих делах просто ничего не говорить.

После обеда Сапунов расстелил на лужайке перед террасой полотнище для флага и сел над ним на корточки. Флаг должен был висеть над казино, на шесте, который арендатор позволил прибить к коньку крыши при условии, что шест будет не выше трубы. Арлекин был набросан углём ещё вчера: ромбы, маска, короткая палка в руке. Сапунов разводил краску в жестяной банке из-под монпансье и клал её крупно, не жалея, пальцами придерживая край полотна, чтобы не загибался.

Кузмин, приехавший с полуденным поездом, стоял рядом в светлом костюме и в шляпе и смотрел сверху.

— Вы его делаете слишком весёлым, — сказал он.

— Он висеть будет на крыше. Сверху и так никто ничего не разберёт. Чем веселее, тем лучше видно.

— Он похож на вывеску.

— А это и есть вывеска, — сказал Сапунов.

— Хорошая вывеска лучше плохой картины, — сказал Кузмин.

Сапунов отодвинулся и посмотрел на Арлекина сбоку.

— Это вы где вычитали?

— Это вы мне говорили. В позапрошлом году.

Сапунов подумал, держа кисть на весу.

— Не помню. Ну, значит, правильно.

Он снова наклонился к полотну и мазнул ромб на рукаве Арлекина красным. Краска с кисти потекла, он подхватил её пальцем и вытер палец о собственный рукав, о белую рубашку, не глядя, как вытирают о тряпку. Кузмин посмотрел на рукав.

— Это теперь не отстирается.

Сапунов не ответил: он смотрел, не потекло ли с ромба на маску. Кузмин сел на ступеньку террасы, подстелив платок. Из кармана у него торчали ноты, свёрнутые в трубку и перевязанные ниткой, и Сапунов, не поднимая головы, сказал:

— Вы всё-таки написали.

— Мне прислали сценарий, — сказал Кузмин. — Я обещал: если пришлют, напишу. Мне прислали. Я написал. Теперь говорят, что сценарий другой.

— Кто говорит?

— Никто не говорит. Я вижу. Я час стоял в парке у сарая и смотрел, как Всеволод Эмильевич разводит. Там всё стало короче. У меня выход дам на шестнадцать тактов, а им теперь пройти четыре шага.

— Так сократите.

— Сокращу, — сказал Кузмин. — Только тогда это будет не музыка, а пауза с аккомпанементом. — Он вынул ноты, развязал нитку и посмотрел на первую страницу, потом снова свернул. — Ничего. Я сделаю марш. Марш можно сокращать сколько угодно, он от этого только лучше.

Сапунов взял кисть потоньше и стал обводить маску.

— Вот вы бы лучше маскарад им написали, — сказал он. — Настоящий. В парке. Здесь же парк какой, вы посмотрите, — он мотнул головой в сторону сосен, не отрываясь от маски. — Фонари на ветках, балаганы между соснами, вон там, где дорожка, — карусель, а музыка — из-за деревьев, чтобы не видно было, откуда. И чтобы все в масках, и публика тоже. Билет — и маска при входе.

— Вы это Всеволоду Эмильевичу говорили?

— Говорил. Он сказал: после Сервантеса. — Сапунов хмыкнул. — У него всё после Сервантеса. Сначала надо открыться.

— А Любовь Дмитриевна?

— Любовь Дмитриевна сказала: сколько это стоит. — Сапунов поднял голову и в первый раз за весь разговор посмотрел на Кузмина. — И правильно сказала. Я ей ответил, что не знаю. Она сказала, что, когда я буду знать, пусть я приду. Я ещё не знаю.

Он снова наклонился к маске. Кузмин посидел ещё немного, потом встал, отряхнул платок и ушёл в дом, к пианино.

Пианино стояло в гостиной у Мейерхольда, потому что больше его поставить было некуда: наверх его не втащили бы, а на террасе оно отсырело бы за одну ночь. Оно и так было расстроено, верхнее «ля» западало, а две клавиши в басу звучали одинаково. Кузмин сел, попробовал «ля», поморщился и заиграл, не открывая нот, тихо, одной правой рукой, а потом и обеими.

Из сада было слышно. Сапунов не поднимал головы, но кисть у него на какое-то время пошла медленнее.

У дровяного сарая Кузьмин-Караваев отмерил своей лентой три с половиной аршина и провёл каблуком по хвое две черты. Между чертами Мейерхольд и развёл пантомиму заново.

Он работал не так, как утром в казино. Утром он стоял в проходе и смотрел себе под ноги; теперь он почти не стоял на месте, входил в черты, показывал, выходил, садился на поленницу, вскакивал. Дамам он велел идти не гуськом, а парами и поодиночке, с остановками, так, чтобы полукруг получался не из шагов, а из остановок. Чекан он поставил первой.

— Вы больше всех боитесь ширмы, — сказал он ей, — значит, вам и идти мимо неё первой. Не бойтесь. Ширма деревянная, она сама вас боится.

Чекан пошла первой и ширмы, которой здесь не было, не задела ни разу. Мгебров смотрел на неё с поленницы и после каждого прохода хлопал два раза, пока Мейерхольд не сказал ему, что если он будет хлопать, то пусть хлопает в такт.

Тапёра здесь не было. Такты отбивал Кузьмин-Караваев, ладонью по крышке старого ящика из-под мыла, и сбивался, когда смотрел на дам. Через полчаса из дома стали слышны звуки пианино, сначала обрывками, потом подряд: Кузмин, видно, решил что-то. Мейерхольд поднял голову, послушал и сказал: «Нет, это не то», — но не сказал, кому, и ещё минут десять дамы ходили под Кузмина, хотя музыка была не их и кончалась не там, где кончалась фигура.

Любовь Дмитриевна в эти полчаса дважды уходила с площадки и возвращалась. Первый раз к ней пришла кухарка с мальчиком из лавки, который принёс счёт, хотя лавка была закрыта: лавочник, услышав про перенос, решил на всякий случай, что лучше получить сегодня. Она посмотрела счёт, сказала мальчику, что заплатит в понедельник вечером, и мальчик ушёл, не очень веря. Второй раз пришёл Лучевич со станции. Ширм Кульбин не привёз, привёз себя, и сейчас придёт, он остановился поговорить с дачником, который спросил у него дорогу.

— Билеты? — спросила она.

— Сорок три, — сказал Лучевич. — Девять уже вернул, на станции подходили. Остальные, наверное, придут к казино в шесть. Борис Константинович велел мне там стоять.

— Деньги?

— У меня. — Он похлопал себя по карману. — Все, кроме тех девяти.

— Так и держите. И запишите в книгу, у Бычкова на террасе.

Лучевич посмотрел на неё с некоторым сомнением, как будто книга на террасе была для него новостью, и ушёл в сторону дома.

Кульбин появился через четверть часа, без шляпы, с трубкой бумаги под мышкой и с видом человека, который очень торопился и всю дорогу останавливался. Он издали закивал всем сразу, подошёл к Мейерхольду и стал разворачивать бумагу прямо на поленнице. Бумага была эскизом ширм — не тех, что стояли в казино, а новых, — и Мейерхольд посмотрел на них, держа край пальцем, чтобы не свернулись.

— Плотник в Куоккале сделал рамы, — сказал Кульбин, — а холст я натяну сам, это вечер работы. Цвет вот такой. Здесь — такой. Вы видите, здесь всё держится на одном ударе: жёлтое и рядом лиловое, без перехода. Это именно для пантомимы, понимаете, для движения: глаз должен прыгать вместе с актёром, а не плавать.

— Сколько у вас в ширме? — спросил Мейерхольд.

— Как?

— Ширина.

Кульбин посмотрел на эскиз.

— Аршин с четвертью. Створка.

— А створок?

— Три.

— Значит, четыре аршина без малого, — сказал Мейерхольд. — А у нас вся сцена три с половиной. Николай Иванович, у нас ширмы шире сцены.

Кульбин не смутился нисколько.

— Ну так сложим, — сказал он. — Одну створку загнём. Это даже лучше, будет угол, будет тень. Для Арлекина угол — лучшее место, он из угла должен выскакивать.

Мейерхольд посмотрел на эскиз ещё раз, уже по-другому, и кивнул.

Кульбин тут же нашёл себе дело: стал объяснять Кузьмину-Караваеву про угол, про тень и про то, как глаз прыгает, держа его за пуговицу, а Кузьмин-Караваев, у которого в руках была лента и который не мог её никуда деть, слушал, кивал и смотрел на Мейерхольда, ожидая, что

тот его отпустит. Мейерхольд не отпускал. Ему было выгодно, чтобы Кульбин сейчас говорил с кем-нибудь, кроме него.

Потом Мейерхольд отпустил дам и позвал Сервантеса.

«Два болтуна» он трогать не стал: эта интермедия у него действительно стояла на двух стульях и на одном пороге, и порог был в любом месте, где его покажут. Любовь Дмитриевна вошла в черты вместе с Миклашевским, и они прошли сцену с начала до конца. Слов у неё здесь было много, говорить их надо было быстро, наперебой, но Мейерхольд с первой репетиции требовал от неё не скорости, а другого: что она делает, когда её наконец переговорили, — лицом, плечом, тем, как она садится и как встаёт. Утром, перед пантомимой, она этого делать не могла: думала о Пронине. Теперь она про Пронина забыла, и Мейерхольд, сидевший на поленнице, один раз засмеялся там, где, кажется, сам этого не ждал.

— Вот это оставьте, — сказал он. — Где вы встали и не ушли.

— Я встала, потому что забыла, что дальше.

— Ну и хорошо. Не вспоминайте.

Блок и Пяст пришли с вечернего поезда, когда солнце уже ушло за сосны, а на террасе только начинали собирать к чаю. Они шли от калитки по главной аллее, Пяст впереди, Блок за ним, и Пяст на ходу рассказывал что-то, повернувшись к нему вполоборота, а Блок слушал, держа шляпу в руке. Из-за дровяного сарая их первой увидела Веригина и сказала: «Александр Александрович», — негромко, как говорят, когда не хотят никого отвлекать, но сразу все отвлеклись.

Любовь Дмитриевна в эту минуту стояла в чертах, спиной к аллее, и обернулась не сразу. Она дождалась, пока Миклашевский договорит реплику, ответила ему — коротко, как было разведено, и только тогда посмотрела. Блок остановился у края площадки, за поленницей, и стоял там, не подходя.

— Продолжайте, — сказал он. — Я не мешаю.

— Вы уже помешали, — сказал Мейерхольд, вставая. — Здравствуйте, Александр Александрович. Мы сегодня не играем.

— Я знаю. Нам у казино сказали.

— Кто?

— Молодой человек с деньгами. Он хотел вернуть мне билет, но у меня билета не было, и он очень огорчился.

Мейерхольд засмеялся и протянул руку. Блок пожал её, вежливо и чуть дольше, чем нужно, как пожимают руку человеку, с которым когда-то были отношения важнее рукопожатия, а теперь остались только эти. Потом Блок поздоровался с остальными — с Веригиной, с Бычковым, с Мгебровым, который, конечно, поклонился ему как Панталоне, — и подошёл к жене.

Она стояла в чертах и не выходила из них.

— Мы ещё не кончили, — сказала она.

— Я посмотрю.

И он стал смотреть. Мейерхольд, подумав, вернул Сервантеса к началу, и они прошли интермедию ещё раз, при Блоке. Блок стоял за поленницей, не садился, хотя Пяст сел сразу, на чурбак, и смотрел так, как смотрят в театре, когда не знают, что будет дальше. В том месте, где она встала и не ушла, он не засмеялся, как Мейерхольд, но переступил с ноги на ногу и взялся рукой за поленницу.

Когда интермедия кончилась, он сказал Мейерхольду:

— Хорошо.

Больше он ничего не сказал, и Мейерхольд, кажется, больше ничего и не ждал.

Чай на террасе пили долго, потому что люди приходили к столу и уходили, и самовар успели подогреть два раза. Кухарка поставила хлеб, масло, остатки рыбы и миску с редиской; Василий принёс варенье из чьего-то частного запаса, и Бычков спросил, из чьего, но ответа не получил. Мейерхольд выпил стакан стоя и ушёл в гостиную к Кузмину: они там о чём-то говорили у пианино, и пианино то начинало играть, то замолкало посреди фразы.

Блок сидел у края стола, спиной к перилам, и ел хлеб с маслом, как едят люди, которые с утра работали и пообедать забыли. Он и правда забыл: сказал Любови Дмитриевне, что весь день составлял для Сытина детские книжки и что ему теперь кажется, будто все дети на свете хотят читать только про зайцев.

— Про зайцев и я хотела, — сказала она.

— Ты хотела про медведей. — Он намазал себе ещё хлеба. — Я помню.

Пяст сидел напротив и говорил о Стриндберге. Весной, узнав, что Стриндберг тяжело болен, он ездил в Стокгольм, и теперь, когда Стриндберга уже не было, говорил о нём со всеми, кто садился рядом, — с Бычковым, с Веригиной, с Мгебровым, — одно и то же, но каждый раз немного по-другому. Он хотел, чтобы летом в Териоках играли Стриндберга, и не что-нибудь, а «Виновны — невиновны», и уже говорил с Мейерхольдом, и Мейерхольд сказал ему «посмотрим», и Пяст считал, что это почти согласие.

— Там же роль, — говорил он Веригиной, не глядя на Любовь Дмитриевну. — Там женская роль, которую у нас никто не играл, потому что у нас никто не умеет так стоять на сцене, чтобы было видно, что человек думает. Это не пантомима, это наоборот.

— Почему же наоборот? — спросила Веригина. — В пантомиме тоже думают.

— В пантомиме думают ногами, — сказал Пяст. — А там надо думать спиной.

— Владимир Алексеевич, — сказал Блок, не поворачиваясь. — Возьмите редиску.

Пяст взял редиску и на время замолчал. Веригина посмотрела на Блока, потом на Любовь Дмитриевну. Любовь Дмитриевна смотрела в стакан. О роли у Стриндберга она думала уже неделю и никому об этом не говорила, а теперь об этом при ней говорил Пяст, и говорил так, будто роль ему поручили раздать.

Кульбин тоже пил чай, но торопливо, потому что его ждали к ужину у себя в Куоккале. Он успел ещё рассказать Блоку про ширмы, про угол и про глаз, который прыгает, и Блок слушал внимательно, кивал и спросил только одно: отчего жёлтое рядом с лиловым, а не рядом с синим. Кульбин обрадовался вопросу, начал отвечать, посмотрел на часы, сказал, что ответит в другой раз, непременно, это важно, и уехал на велосипеде, которого до этой минуты никто не видел, — велосипед, оказывается, весь день стоял за сараем.

Сапунов пришёл к чаю последним. Рукав у него был в красном, и красное успело подсохнуть и потемнеть. Он сел на освободившееся место Кульбина, налил себе чаю и отломил хлеба.

— Висит? — спросил Пяст.

— Сохнет. Завтра повесим. — Сапунов кивнул в сторону лужайки, где полотнище лежало на траве, придавленное по углам кирпичами. — Если краска к утру высохнет.

— А если нет?

Сапунов пожал плечами и отпил чаю. Потом посмотрел на Любовь Дмитриевну.

— Пронин мне ещё утром сказал, что в субботу, кроме Сервантеса, хорошо бы дать что-нибудь лёгкое. Для дачников. В одном действии.

— Я Пронину ничего такого не обещала.

— Я знаю. Он мне и не про вас говорил. Он вообще. Я ему сказал, что лёгкое у нас — пантомима, а он сказал, что пантомима лёгкая для нас, а не для публики.

— Водевилей не будет, — сказала она.

— Я так ему и сказал, — согласился Сапунов. — Я сказал: Любовь Дмитриевна так говорит. А он сказал: все так говорят.

Он доел хлеб и ушёл наверх переменить рубашку, а потом раздумал и вернулся в той же.

После чая Блок и Пяст пошли по парку. Пяст хотел показать ему, где стоит казино, и дорогу к станции напрямик, и площадку у дровяного сарая, и то место, где Сапунов собирался ставить балаганы, хотя никаких балаганов там пока не было, а была только тропинка и две сосны с ободранной корой. Блок шёл медленно, руки за спиной, и смотрел больше вверх, на ветки, чем туда, куда показывал Пяст.

— Вы не слушаете, — сказал Пяст.

— Слушаю. Вот здесь балаган, а вот здесь карусель.

— Карусели не будет. Это Сапунов так говорит.

— Значит, не будет, — согласился Блок.

Они дошли до калитки в дальнем конце парка, постояли, повернули обратно. На обратном пути Пяст опять заговорил о Стриндберге, о «Виновны — невиновны», о том, что Мейерхольд сказал «посмотрим», и о женской роли, и Блок на этот раз дослушал до конца и только потом сказал:

— Вы ей об этом говорили?

— Кому?

— Любе.

Пяст остановился.

— Нет. Я думал, лучше сначала Мейерхольду.

— Мейерхольду вы уже сказали, — сказал Блок и пошёл дальше.

Из дома, когда они подходили к нему с задней стороны, было слышно пианино: Кузмин опять играл, теперь не одной рукой, а как следует, и не марш, а что-то медленное, с повторами. На западающем «ля» музыка всякий раз чуть спотыкалась и шла дальше. Пяст хотел что-то сказать, но Блок поднял руку, и они постояли у стены под окном гостиной, пока Кузмин не кончил. Кончил он не на последнем такте, а раньше, как будто вспомнил о чём-то, и закрыл крышку.

В гостиной Мейерхольд спросил его, что это было.

— Это было к пантомиме, — сказал Кузмин. — Теперь к пантомиме будет марш. А это я выброшу.

— Не выбрасывайте. Потом пригодится.

— Потом мне будет неинтересно, — сказал Кузмин и стал завязывать ноты ниткой.

Пронин вернулся из казино в девятом часу, весёлый и усталый, и прямо с крыльца стал рассказывать, хотя его ни о чём не спрашивали. Из тридцати четырёх, которые пришли к шести, девятнадцать оставили билеты на субботу, одиннадцать взяли деньги, а четверо, две дамы и два господина, не хотели ни того, ни другого, а хотели, чтобы им объяснили, почему в афише написано одно, а в казино другое. Им объяснили. Потом они остались на танцы.

— На какие танцы? — спросил Бычков.

— Он всё-таки устроил танцы, — сказал Пронин с восхищением. — Отменил, а потом устроил. С семи. Музыка с веранды, а танцевать на площадке перед входом. У него полный буфет. — Он сел на перила террасы. — Это я к тому, Любовь Дмитриевна, что двадцать пять рублей мы ему правильно не дали. Вы были правы. Только не говорите мне этого.

— Не скажу.

— И Лучевич, — продолжал Пронин, — записал все деньги в книгу. Я сам видел. Он, оказывается, не знал, что у нас книга.

— А вы знали? — спросил Бычков.

Пронин посмотрел на него и понял, о чём речь.

— Двенадцать рублей, — сказал он. — Клей и Выборг. Я помню. Сейчас запишу.

Он взял со стола книгу, сдвинув с неё камень, и стал писать, держа её на колене. Бычков смотрел, как он пишет, и, кажется, хотел сказать, что на колене писать нельзя, но не сказал.

Любовь Дмитриевна нашла Блока на нижней ступеньке террасы. Он сидел, вытянув ноги на дорожку, и смотрел на полотнище с Арлекином, которое Сапунов так и оставил на траве под кирпичами.

Она села рядом.

— Ну как? — спросила она.

— Флаг?

— Всё.

Он подумал.

— Тесно, — сказал он. — И хорошо, что тесно. В парке было бы лучше, но в парке нельзя продавать билеты.

— Это тебе Пяст сказал.

— Это я сам. Пяст мне сказал про Стриндберга.

Она ничего не ответила. Блок, не поворачиваясь, спросил:

— Ты хочешь эту роль?

— Хочу.

— Тогда скажи Мейерхольду сама. До того, как Пяст скажет ему в третий раз.

— Он уже сказал два?

— По-моему, да.

Она засмеялась, коротко, и замолчала. Потом сказала, глядя на флаг:

— Мне завтра в банк. С утра. Плотнику платить, лавочнику, кухарке. У меня три рубля.

— У меня есть, — сказал Блок. — Я могу оставить.

— Не надо.

— Люба.

— Не надо, — повторила она. — У меня есть свои. Они просто в банке.

Блок кивнул, и вопрос, кажется, был для него решён: он не стал предлагать второй раз и не стал объяснять, почему предложил первый. Вместо этого он сказал:

— Тогда поезжай со мной. Сегодня. Утром сходишь в банк, а к обеду вернёшься сюда.

— А репетиция?

— Утром у них будет плотник. Ты сама сказала.

Она посмотрела на площадку у сарая, где в хвое ещё были видны две черты, проведённые каблуком, потом в сторону гостиной, где Мейерхольд разговаривал с женой и где Кузмин, судя по звукам, опять открыл пианино, но играть не стал, а только трогал «ля».

— Хорошо, — сказала она. — Поеду.

Она встала и пошла сказать Бычкову. Бычков выслушал, записал что-то на поле книги — не в столбец, а сбоку, — и спросил только, к какому поезду её ждать. Веригина, услышав, сказала, что положит ей в сумку пирожков от кухарки, и положила, не спрашивая. Мейерхольд, когда она ему сказала, кивнул и ответил: «Хорошо, во вторник с утра Сервантес, без вас не начнём», — и добавил, что у сарая было лучше, чем в казино, и что в казино будет так же, как у сарая, если плотник не напьётся.

Пошли на станцию втроём: Блок, Любовь Дмитриевна и Пяст, который провожал их до поезда и обратно собирался идти один. В посёлке на площадке перед казино всё ещё играла музыка, и пары кружились прямо на утоптанном песке у входа; над дверью висела старая афиша, и на ней никто ещё ничего не наклеил. Пяст хотел подойти и сорвать её, но Блок сказал, что завтра всё равно наклеят, а рвать в темноте чужое неудобно, хотя темноты никакой не было: было светло, как бывает в июне, когда фонари зажигают для порядка.

У вагона Пяст пожал Блоку руку, поклонился Любови Дмитриевне и сказал:

— Я с Всеволодом Эмильевичем ещё поговорю.

— Не надо, — сказала она. — Я сама.

Пяст не обиделся и даже, кажется, обрадовался, как будто ему сняли с плеч поручение, которого никто не давал.

Поезд тронулся. Пяст постоял на платформе, пока последний вагон не прошёл мимо, и пошёл обратно через посёлок, мимо казино, где теперь играли вальс, к даче.

На даче ложились поздно и в разное время. Мейерхольд с женой давно ушли к себе за двери гостиной; такса ещё некоторое время ходила по коридору, стуча когтями, и наконец улеглась у порога снаружи, будто сторожила. Наверху Мгебров кому-то через стенку рассказывал, как надо кланяться, чтобы не болела спина, и Чекан сказала ему: «Шура, спи». Кузьмин-Караваев сидел на подоконнике в своей комнате и переписывал с манжеты на бумагу цифры, пока не забыл, к которым из них что относится. Сапунов и Кузмин стояли на верхней галерее и курили, и разговаривали так тихо, что Пяст, поднимаясь по лестнице, слышал только, как Кузмин один раз засмеялся.

Пяст нашёл себе пустую комнату, в которой было сено, но не было никого, и лёг, не раздеваясь, на сено, подложив под голову пиджак. Через стену было слышно, как Бычков ходит по своей комнате взад-вперёд и что-то считает вслух, шёпотом.

Внизу, на террасе, Василий собирал стаканы. Книга так и лежала на углу стола открытой, без камня. Он закрыл её, положил сверху камень и понёс поднос на кухню.

Полотнище с Арлекином до утра пролежало на траве под кирпичами, и к утру краска высохла.

Глава третья. Офицерская — Михайловская площадь. Декабрь 1913

От ворот к театру вела расчищенная дорожка, а по обе стороны от неё в снегу стояли заколоченные будки и карусель под рогожей. Летом здесь гремело и светилось до двух часов ночи, теперь светился только подъезд, и над подъездом мокро шипела дуговая лампа. Публика шла по дорожке гуськом, потому что идти рядом было негде. Две барышни впереди Любови Дмитриевны держались под руки и всё равно шли гуськом, и та, что сзади, наступала передней на подол.

В вестибюле Любовь Дмитриевна по привычке взяла левее, к узкой лестнице, по которой когда-то поднимались за кулисы, и только у самой лестницы вспомнила, что ей не туда. Лестница была та же, перила те же, крашенные коричневым, только на нижней ступеньке теперь стоял капельдинер и никого не пускал.

— Вам, сударыня, в партер направо, — сказал он.

— Я знаю.

Она постояла у лестницы ещё секунду, сверху тянуло холодом, как и раньше, — со сцены всегда тянуло, даже когда двери были закрыты, — и пошла направо.

Народу было много, больше, чем помещалось. Гардеробщики не успевали, номерков не хватало, и шубы вешали по две на крючок, а номерок давали один, на что одни соглашались, а другие нет. Пахло снегом, нафталином и чужими духами. Над гардеробом висела афиша: первые в мире постановки театра футуристов, вчера трагедия, сегодня опера, четвёртого опять трагедия. Под афишей двое студентов спорили, вчерашнее было хуже или лучше, и один говорил, что вчера был хотя бы автор, а сегодня автора никто не видел и неизвестно, существует ли он.

— Существует, — сказал кто-то сбоку. — Я с ним в одном трамвае ехал.

Студенты обернулись, но тот уже отдавал гардеробщику калоши и больше ничего не прибавил.

Любовь Дмитриевна сдала шубу на отдельный крючок, потому что заплатила за отдельный, и пошла в зал.

Место у неё было в седьмом ряду, с краю. Рядом уже сидела Остроумова-Лебедева, в тёмном платье, с биноклем на коленях, а за ней Лебедев, который не сидел, а стоял, держась за спинку переднего кресла, и смотрел не на сцену, а вверх, на ярус.

— Любовь Дмитриевна, — сказала Остроумова. — Вот не думала. Садитесь, это ваше. Серёжа, сядь, ты загораживаешь.

Лебедев сел, но голову не опустил.

— Там прожектор, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Не один. Два, по-моему. Один на ярусе слева, а второй я не вижу, но провод идёт вон туда.

— Он с самого начала про провод, — сказала Остроумова. — Как вы? Вы ведь были где-то... я слышала, в провинции?

— Была. Сезон.

— И как?

Любовь Дмитриевна подумала, что на это ответить. Ответить можно было многое: двенадцать ролей, три города, костюмы, которые надо было везти с собой в двух корзинах и которые в каждом городе перешивали на чужую фигуру, антрепренёр, уехавший в Ростов с кассой, и как они после этого две недели играли на паях.

— Научилась быстро шить, — сказала она.

Остроумова засмеялась, коротко и с удовольствием, и больше не спрашивала.

Зал заполнялся медленно и шумно. В партере сидели во фраках и в форменных сюртуках, были и офицеры, и дамы в больших шляпах, которые их не снимали, пока сзади не начинали просить. Выше было теснее и громче: там сидели студенты, курсистки, молодые люди в блузах, и оттуда уже сейчас, до всякого начала, кто-то посвистывал — не зло, а пробуя, как пробуют голос. В ложе справа сидела компания, которая громко смеялась ещё до того, как погас свет, и Остроумова, оглянувшись на неё, сказала: «Эти пришли смеяться, они и будут», — и снова повернулась к сцене.

Занавес был закрыт. Внизу, у самой рампы, где когда-то сидел оркестр, стоял рояль, и у рояля возился немолодой человек с бородкой, в чёрном сюртуке. Он поднимал крышку, нажимал клавишу, слушал, опускал крышку и снова поднимал. Из зала его плохо было видно, но слышно было хорошо: одна и та же нота, раз и другой, и третий, и каждый раз немного не та.

— Это Матюшин, — сказал кто-то в ряду сзади. — Композитор.

— Он что, настраивает?

— Не знаю. Говорят, рояль привезли только сегодня.

Матюшин закрыл крышку, постоял, положив на неё ладонь, и ушёл за занавес. На рукаве у него была чёрная повязка. Её видели, наверное, все в первых рядах, но в первых рядах никто про неё не сказал.

Кузмин опоздал. Он вошёл, когда свет уже начали убавлять, и долго пробирался к своим местам в одиннадцатом ряду, извиняясь направо и налево вполголоса, а за ним шёл Юркун и не извинялся, потому что смотрел по сторонам. На Юркуне было новое пальто, которое он не сдал в гардероб, а держал на руке, — сдавать было уже некогда, — и пальто задевало колени сидящих.

— Юр, — сказал Кузмин через плечо. — Пальто.

Юркун перехватил пальто повыше и задел им кого-то по голове.

Когда они наконец сели, Кузмин некоторое время молчал, а потом сказал, глядя на занавес:

— Здесь ничего не изменилось. Только кресла новые. Тогда были красные.

— Когда тогда?

— Когда здесь был театр. — Кузмин вздохнул. — Неважно. Я тебе потом расскажу.

Юркун кивнул и не стал спрашивать дальше. Он смотрел на рояль.

Пуни и Богуславская сидели наверху, на ярусе, во втором ряду, и вокруг них было то самое место, откуда посвистывали. Слева от Богуславской сидел студент-технолог в расстёгнутой тужурке, с бумажным свёртком на коленях; в свёртке были пирожки, и он ел их, не дожидаясь начала, и предлагал соседям. Богуславская отказалась, Пуни взял один.

— Иван, — сказала она.

— Я не обедал.

— Никто не обедал.

Пуни съел пирожок и вытер пальцы платком. Отсюда сцену было видно сверху и наискосок, рояль у рампы казался маленьким, а занавес — плоским, как картон. Пуни смотрел на занавес. На нём ничего не было нарисовано: просто серая, плотная, в складках материя, и он, кажется, ждал, не будет ли что-нибудь нарисовано на изнанке.

— Ты знаешь, сколько они дали Малевичу на всё? — спросила Богуславская тихо.

— Знаю.

— И за сколько дней?

— Тоже знаю. Он сам говорил.

— Это же неприлично, — сказала она. — Не ему неприлично, а им.

Пуни пожал плечами. Свет погас.

Сначала было темно и тихо, так тихо, что слышно было, как наверху кто-то развернул бумагу. Потом перед занавесом, у края сцены, появился человек и начал читать.

Читал он быстро, на одной ноте, без всякого выражения, как читают объявление, и слова у него были такие, что их можно было разобрать каждое в отдельности, но вместе они не складывались ни во что, что можно было бы потом пересказать. Они были похожи на русские слова. Некоторые были почти русскими, с русскими окончаниями и русскими корнями, но корни и окончания были от разных слов, и слушать это было так, как смотреть на знакомую улицу, где все вывески перевешаны на чужие двери.

В партере засмеялись. Сначала кто-то один, потом сразу многие. Наверху свистнули — уже не пробуя, а всерьёз. В правой ложе громко сказали: «Браво!» — и захохотали над собственным «браво». Чтец не остановился и не повысил голоса, только чуть замедлил, и слова пошли тяжелее и реже.

— Что он говорит? — спросил Юркун шёпотом.

— Ничего, — сказал Кузмин. — Он зовёт нас в театр. Мы уже в театре.

— Нет, правда.

— Правда, зовёт. Я разобрал два слова. Оба значат «смотреть».

Юркун засмеялся, не громко, но так, что сидевшая впереди дама обернулась.

Лебедев рядом с Любовью Дмитриевной сидел, подавшись вперёд, и смотрел не на чтеца, а на край занавеса, где под складками пробивалась полоска света. Полоска то ширилась, то сужалась: за занавесом кто-то ходил с фонарём.

Чтец кончил так же, как начал, без всякого знака, что кончил, и ушёл в темноту. Наступила пауза, достаточно долгая, чтобы в зале успели переглянуться. И тогда занавес не раздвинулся, а разорвался.

Его разорвали изнутри. Сначала в серой материи появилась прореха, сверху вниз, и в прорехе — что-то угловатое и светлое, потом прореха разошлась, и из неё, раздирая её дальше руками, вышли двое. Они были огромные. Плечи у них стояли на уровне рта, так что головы почти не было видно, а то, что было видно, было закрыто чем-то вроде шлема, треугольного, из того же светлого материала, что и плечи. Они двигались медленно и все сразу, целиком, будто внутри у них не было суставов, и, когда один повернулся к залу, он повернулся весь, от пят до шлема.

В зале ахнули — не все, но многие. Потом снова засмеялись, но смех был уже другой, неуверенный, и свистели теперь меньше, а больше переговаривались.

Любовь Дмитриевна смотрела на плечи. Плечи были из картона, это было видно сразу, даже из седьмого ряда: на сгибе, где картон переламывался, чтобы образовать угол, по краю шла тёмная полоса, и полоса эта не была нарисована, а была просто сгибом. Под картоном что-то держало форму — не рёбра, а, должно быть, проволока: когда силач поднимал руку, плечо не шло за рукой, а оставалось на месте, и рука выходила из-под него отдельно, человеческая, в перчатке. Она подумала, что в этом костюме нельзя сесть. И нельзя наклониться. И, наверное, жарко, как в печке, если прожектор держит долго. Она стала смотреть, долго ли держит прожектор.

Прожектор держал недолго. Свет здесь вообще ни на чём не задерживался. Он вырывал из темноты то силача, то кусок декорации за ним, то пустое место на полу, где через секунду оказывался кто-то другой, и всё, что не попадало в круг, исчезало, так что силач, шагнувший из света, переставал быть, а потом появлялся снова, уже на другом месте, и было непонятно, как он туда попал. Декорации были не похожи ни на что. Это не были комнаты и не были улицы: большие плоскости, белые, чёрные, круги и куски кругов, острые углы, что-то вроде колёс или частей машины, и всё это при сменявшемся свете то выступало вперёд, то проваливалось.

Лебедев сказал вслух, почти не шёпотом:

— Он режет.

— Что? — спросила Остроумова.

— Свет режет фигуру. Смотри: ноги ушли, а плечи остались. Он нарочно ставит луч так, чтобы край луча проходил по поясу.

— Серёжа, тише.

Он замолчал, но продолжал смотреть, и Любовь Дмитриевна видела краем глаза, как он беззвучно шевелит губами — считает.

Потом заиграл рояль. Играли где-то сбоку, тот самый рояль, который проверял Матюшин, и звук у него был такой, что в зале опять засмеялись. Это была музыка, у неё был ритм, и кое-где мелодия, но рояль в верхнем регистре дребезжал, а одна нота в середине не звучала совсем, и пианист, видимо зная это, обходил её, и в этих обходах музыка спотыкалась. Потом вступил хор, человек десять, из-за декорации, и хор пел громко, уверенно и не вместе. Слова хора были такие же, как у чтеца, только пелись, и от этого их разбирали ещё хуже.

— Это из оперетки, — сказал кто-то сзади, со знанием дела. — Я одного узнал. Он в «Весёлой вдове» пел.

— Где?

— Вон, третий слева. С проволокой на голове.

Двое из певших пели по-настоящему, поставленными голосами, и это было самое странное: оперные голоса пели такие слова и нисколько этим не смущались. В зале какой-то господин в партере, немолодой, с орденом на шее, вдруг громко сказал соседу: «А ведь поёт, мерзавец!» — и сосед засмеялся, и вокруг засмеялись, и было непонятно, хвалит он или ругает. Наверху кто-то подхватил последнее слово силача и пропел его на свой мотив. С другой стороны яруса закричали: «Тише! Дайте слушать!» — и кричавшему ответили: «А ты что, понимаешь?» — «А ты?» — и эти двое начали своё представление, которое было слышно не хуже, чем то, что на сцене.

Кузмин смотрел на сцену и два раза доставал часы. Юркун рядом с ним сидел, подавшись вперёд, и, когда силачи поворачивались всем телом, тоже чуть поворачивался.

— Тебе нравится? — спросил Кузмин.

— Да, — сказал Юркун, не оборачиваясь.

Кузмин посмотрел на него, потом снова на сцену и больше не спрашивал.

Сцены сменялись без занавеса, просто гас свет и снова зажигался, и каждый раз на сцене было что-то другое. Появился человек в широком, будто надутом изнутри костюме, весь в каких-то полосах, и долго ходил по сцене, рассказывая, где побывал. Из рассказа поняли, что он путешествует по векам, и засмеялись с облегчением. Потом выполз кто-то длинный, почти лёжа, и наверху закричали: «Ползи, ползи!» Потом кто-то говорил по телефону — с трубкой, огромной, картонной, — и в зале узнали телефон и обрадовались ему, и господин с орденом опять сказал что-то соседу, и сосед опять засмеялся.

Любовь Дмитриевна заметила, что у одного из силачей после того, как они рвали занавес, левое плечо промялось. Картон на сгибе подался внутрь, и плечо стало ниже правого, и силач, похоже, этого не знал и держался по-прежнему прямо, отчего казалось, что он стоит криво нарочно. Через две сцены он вышел снова, и плечо было уже выправлено — видно, кто-то за кулисами успел вытолкнуть картон изнутри. Она обрадовалась этому больше, чем всему, что видела до сих пор, и сама удивилась.

Когда в первый раз дали полный свет, Остроумова подняла бинокль, посмотрела на декорацию, опустила бинокль и сказала мужу, не поворачиваясь:

— Я в антракте пойду.

— Почему?

— Устала. У меня с утра доска. А ты сиди.

— Я сижу.

Он и не думал вставать.

В антракте фойе набилось так, что пройти к буфету можно было только боком, а у буфета стояли в три ряда. Говорили все и громко. Кто-то пересказывал соседу, что видел, будто тот не видел; кто-то спорил, был ли телефон нарочно смешным или случайно; один молодой человек в пенсне ходил от группы к группе и каждой говорил одно и то же: «Нет, позвольте, но ведь это же пародия», — и от него отходили. Две дамы у окна говорили про шляпу третьей дамы, сидевшей в ложе.

Остроумова оделась у гардероба, не дожидаясь, пока схлынет. Лебедев проводил её до дверей, вернулся и, не заходя в фойе, пошёл по коридору вдоль зала, туда, где была дверь на ярус: он хотел посмотреть на прожектор вблизи.

Любовь Дмитриевна вышла в фойе и почти сразу наткнулась на Кузмина. Он стоял у стены с папиросой, ещё не зажжённой, и вертел её в пальцах. Юркун стоял рядом и смотрел через головы на дверь в зал.

— Вы, — сказал Кузмин. — Слава богу. Хоть одно лицо. Любовь Дмитриевна, это Юрий Иванович Юркун. Юр, это Любовь Дмитриевна Блок.

Юркун поклонился. Он кланялся хорошо, легко, не сгибая спины, и Любовь Дмитриевна, отвечая, подумала, что этому где-то учили.

— Вы здесь играли? — спросил Юркун. — Михаил Алексеевич говорил, что здесь раньше был театр.

— Немного. Совсем недолго.

— А я сидел, — сказал Кузмин. — В третьем ряду. Когда шёл «Балаганчик». У меня была музыка, и я сидел и ждал, когда засвищут. Засвистели слева, из лож, на второй сцене. Я до сих пор помню, кто свистел, но не скажу.

— Свистели не на второй, — сказала Любовь Дмитриевна. — Свистели в конце. Сначала все хлопали.

— Хлопали тоже. Но свистеть начали раньше.

— Я была в зале. Я помню.

— Я тоже был в зале, — сказал Кузмин без всякой обиды. — Значит, мы были в разных залах.

Она засмеялась. Она помнила тот вечер подробно, а может быть, только думала, что помнит: синий свет, синие стены, окно, в которое прыгал Арлекин, и бумагу, которая рвалась, и то, что Саша сидел, почти не двигаясь, и что после спектакля, на лестнице, вот на этой, левой, кто-то сунул ей в руку цветок и убежал.

— Там была синяя декорация, — сказал Кузмин. — Всё синее.

— Синяя.

Они помолчали. Юркун посмотрел на одного, на другую.

— Чья?

— Сапунова, — сказал Кузмин. И, не меняя голоса: — Юр, ты сходишь в буфет? Мне чаю, если есть, а если нет, то ничего не надо. Любовь Дмитриевна, вам?

— Ничего.

Юркун ушёл в толпу у буфета. Кузмин наконец вспомнил про папиросу, посмотрел на неё и убрал обратно в портсигар.

— Он ещё не привык, что все сразу, — сказал он. — Вы не обращайте внимания, если он будет смотреть.

— Пусть смотрит.

— Я ему то же самое говорю. — Кузмин помолчал. — А вам нравится?

— Что?

— Это. — Он кивнул на дверь в зал.

— Я не знаю. Я смотрю на костюмы.

— На костюмы, — повторил Кузмин и улыбнулся. — Вот это правильно. Это и есть единственный способ.

Она хотела ответить, но её задели плечом, извинились, задели снова, и Кузмина оттеснило к окну.

У колонны, ближе к лестнице, Чеботарёвская стояла с Маяковским. То есть стояла она, а Маяковский стоял над ней, прислонившись к колонне плечом, и смотрел поверх её шляпы в фойе. Он был выше всех, и его было видно отовсюду; его и видели отовсюду, и на него оборачивались, и он, кажется, это замечал, но не показывал.

— Вчера я не была, — говорила Чеботарёвская быстро, — я была занята, у нас были гости, но мне рассказывали. Мне рассказывали очень разное. Я хочу послушать сама. Вы у нас никогда не были?

— Нет.

— В воскресенье у нас читают. Не футуристы, нет, не пугайтесь, у нас бывают все. Но вы можете прочесть, если захотите. Или не читать, просто прийти. Фёдор Кузьмич будет рад.

— Фёдор Кузьмич будет рад, — повторил Маяковский, не вопросительно.

— Да.

Он посмотрел на неё сверху, впервые за весь разговор, внимательно и без улыбки.

— Хорошо, — сказал он. — Адрес.

Она торопливо открыла сумочку, достала карточку, на которой адрес был уже напечатан, и что-то ещё приписала карандашом. Маяковский взял карточку двумя пальцами и сунул в нагрудный карман, не глядя.

Мимо них, расталкивая фойе, прошёл невысокий худой человек в мятом пиджаке, с бледным подвижным лицом, и на ходу бросил Маяковскому что-то вроде «Володя, ты видел, как они?» — и, не дожидаясь ответа, исчез за дверью, ведущей за кулисы. Это был тот, кто читал перед занавесом. Чеботарёвская посмотрела ему вслед.

— Это Кручёных? — спросила она.

— Он.

— Он всегда так?

— Всегда, — сказал Маяковский и, кажется, впервые за вечер развеселился.

Чеботарёвская закрыла сумочку. Ещё одна карточка осталась у неё в руке, и она, подумав, не стала догонять Кручёных, а положила карточку обратно.

Пуни и Богуславская в фойе не спускались: там было не протолкнуться, и они остались на лестнице, ведущей на ярус, на площадке, где у окна было прохладно. Студент с пирожками куда-то исчез вместе с пирожками.

Богуславская стояла у окна, Пуни сидел на подоконнике, и под ними, во дворе, где летом были качели, лежал нетронутый снег.

— Ты видел декорации? — спросила она.

— Видел.

— Двенадцать штук. За четыре дня. И им не дали красок, сколько он просил. И всё равно это лучшее, что здесь есть. А висеть будет — сколько? Два вечера. И всё. И потом их свернут и кому-нибудь отдадут на тряпки.

— Не отдадут.

— Ну, свернут. — Она отвернулась от окна. — Знаешь, что я подумала? Пока Малевич там сидел и считал, сколько ему дали... Не нужно никого просить. Ни «Союз», ни Жевержеева, никого. Снять помещение самим. Повесить самим. Позвать, кого мы хотим, и не спрашивать ни у кого устава.

Пуни посмотрел на неё.

— А платить?

— Сами. У нас есть.

— Есть, — согласился он. — Но вешать мне пока нечего.

— Будет.

— К весне не будет.

— Тогда не к весне, — сказала Богуславская. — Я же не говорю — к весне. Я говорю — сами.

Пуни помолчал, глядя в окно на снег. Потом сказал:

— Сами, — и слез с подоконника, потому что внизу зазвонили.

Второе действие было короче первого и громче. Свистели теперь меньше, а больше разговаривали, и разговаривали не шёпотом; в правой ложе пили что-то из фляжки и передавали её по кругу. Но были и такие, кто сидел тихо и смотрел, и их было больше, чем казалось по шуму: в шестом ряду, прямо перед Любовью Дмитриевной, пожилой человек в пенсне весь вечер просидел не шелохнувшись, держа на коленях шапку, и только когда силач в очередной раз повернулся к залу целиком, он покачал головой, медленно, из стороны в сторону, и было непонятно, восхищается он или не верит глазам.

Лебедев вернулся на своё место, когда уже погас свет, и сел, тяжело дыша.

— Видел, — сказал он Любови Дмитриевне, раз жены рядом не было. — Там стоит один, в валенках. Он не электрик, он какой-то студент. У него бумажка с номерами, и он по ней поворачивает. А в бумажке у него половина зачёркнута. Он мне сказал, что на генеральной всё было по-другому.

— А сегодня?

— А сегодня он сам решает, — сказал Лебедев с уважением. — По бумажке, но сам.

На сцене появился авиатор. Его узнали сразу, ещё до того, как он запел, — по чему-то вроде крыльев или пропеллера, — и в зале обрадованно заговорили: «Авиатор, авиатор». Он пел и смеялся, громко, по-настоящему, и смех у него был поставлен так же, как голос. Потом из-за декорации выполз кто-то и выстрелил в него из ружья, и выстрел был такой громкий, что половина зала вздрогнула, а дама впереди вскрикнула и схватила соседа за рукав. Авиатор не упал. Он постоял, послушал, будто выстрел был вопросом, и продолжал петь.

— Картон, — сказала Любовь Дмитриевна вслух, сама не заметив.

— Что?

— Ничего. Его картон держит.

Лебедев посмотрел на неё, ничего не понял и кивнул.

Конец спектакля никто не заметил вовремя. Свет погас, потом зажёгся полный, и на сцене стояли все, в картоне и проволоке, неподвижно, и смотрели в зал, а зал несколько секунд не понимал, что это всё. Потом поняли. Захлопали — сразу громко, вперемешку со свистом, так что нельзя было разобрать, чего больше, и закричали: «Автора! Автора!» — и кричали и те, кто хлопал, и те, кто свистел, и, кажется, с одинаковым удовольствием. Автор не выходил. Из ложи над партером какой-то господин в смокинге, перегнувшись через барьер, прокричал в зал, что автора нет, что автора увезли в сумасшедший дом, — и в зале захохотали так, что у рояля, кажется, отозвалась струна.

Кузмин встал первым в своём ряду.

— Юр, идём. Пока гардероб.

— Подожди, — сказал Юркун. — Они ещё стоят.

Силачи действительно стояли. Им было, должно быть, очень трудно стоять так долго в картоне под полным светом, но они стояли, пока кто-то за сценой не дал знак, и тогда стали поворачиваться — по одному, всем телом — и уходить в темноту.

Юркун смотрел, пока не ушёл последний.

Любовь Дмитриевна вышла не в фойе, а по боковому проходу к той самой лестнице слева. Капельдинера там уже не было. Она поднялась на полмарша, открыла дверь, которую в её время всегда заедало, — её и сейчас заело, — и оказалась в коридоре за кулисами.

Здесь было тесно, жарко и шумно, но шум был другой, чем в зале: никто не смеялся. Студенты выбирались из костюмов, помогая друг другу; картон снимали, как снимают кирасу, — расстёгивали на боку и разводили половины, а потом вынимали из них человека. Человек оказывался мокрым, красным и маленьким. Один из силачей, уже без шлема, но ещё с плечами, стоял у стены и пил воду из жестяной кружки, держа кружку обеими руками, потому что поднять её выше плечей не мог.

— Вам помочь? — спросила Любовь Дмитриевна.

— Если вас не затруднит, — сказал он вежливо. — Там, на боку. Крючки.

Она нашла крючки. Их было четыре, и два из них были пришиты к картону нитками, просто прошиты насквозь, а два держались на проволоке, загнутой петлёй. Она отстегнула. Половины разошлись. Внутри картон был серый, не крашеный, и в нескольких местах на нём карандашом было написано: «лев.», «перед», «не гнуть».

— Как вы слышите, когда вступать? — спросила она. — В шлеме.

— Не слышу, — сказал студент. — Мне сзади стучат. Вон тот, — он кивнул на другого, — он за мной стоит. Два раза по спине — значит, иду. Один раз — значит, стою.

— А если он забудет?

— Тогда я стою, — сказал студент, — пока не вспомнит.

Он выбрался из второй половины и сразу стал вдвое уже. Она подержала половину на весу — та была лёгкая, легче, чем она думала, — и поставила к стене.

В конце коридора кто-то громко и отчётливо говорил о рояле. Это был Матюшин. Он стоял в дверях какой-то комнаты, уже без сюртука, в жилете, и говорил человеку, которого не было видно, что рояль привезли сегодня в три часа и что за такой рояль, если бы он был честный человек, он бы взял с театра деньги, а не заплатил. Голос у него был не громкий, но слышный на весь коридор. Хор он тоже упомянул, коротко. Потом замолчал, вошёл в комнату, и дверь за ним закрылась.

Мимо Любови Дмитриевны прошёл, неся на плече что-то большое, плоское, обёрнутое в мешковину, коренастый человек в рабочей блузе, и, проходя, глянул на снятые плечи силача у стены. Он остановился, ногой отодвинул их от двери на полшага и, ничего не сказав, прошёл дальше.

Любовь Дмитриевна спустилась обратно по той же лестнице.

На Офицерской было бело и шумно. Снег шёл мелкий, сухой, и извозчиков на всех не хватало; их ловили за квартал, перебегая через улицу, и извозчики, чувствуя себя в цене, отвечали неохотно. Публика расходилась и не расходилась: стояли кучками у подъезда, договаривали то, что не договорили в фойе, и теперь, на морозе, договаривали громче.

— ...а я говорю: если это шутка, то зачем так долго?

— А если не шутка?

— Тогда тем более.

Кузмин стоял у края тротуара и махал перчаткой извозчику, который делал вид, что не видит. Юркун стоял рядом, без шапки, и снег садился ему на волосы.

— Надень шапку.

— Сейчас.

— Ты простудишься, и мне придётся за тобой ходить, а я не умею.

— Ты умеешь, — сказал Юркун и надел шапку.

Извозчик наконец подъехал. Кузмин назвал Михайловскую площадь, и извозчик, услышав, сразу запросил вдвое.

— Он знает, — сказал Кузмин, садясь. — Все знают, куда сейчас едут.

— А мы куда едем?

— Туда же. Пронин сегодня открывает, хотя сегодня не его день. Он сказал, что для футуристов. Для футуристов, я думаю, он и открывает, а мы с тобой так, примкнувшие.

Юркун сел рядом, и сани тронулись. Он оглянулся на подъезд, где в свете дуговой лампы всё ещё стояли и спорили.

Лебедев вышел одним из последних: он ещё раз сходил наверх, на ярус. У подъезда его окликнул Пуни.

— Сергей Васильевич. Вы куда?

— Домой, — сказал Лебедев. — Анна Петровна уже, наверное, спит.

— Поедемте с нами в «Собаку». На полчаса.

Лебедев подумал.

— На полчаса, — сказал он.

Любовь Дмитриевна вышла из подъезда одна и пошла по Офицерской пешком, в другую сторону от площади, к дому. Идти было недолго. Она дошла до угла, откуда видны были их окна, и увидела, что в кабинете горит свет. Она постояла на углу. Снег шёл на свет фонаря и пропадал, не долетев до земли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.